

Нина Сигал

ХОЛОКОСТ. ЧЕРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Дневники
жертв и палачей



Москва

УДК 94(492)“1939/45”
ББК 63.3(4Нид)622-8
С34

Сигал, Нина.

С34 Холокост. Черные страницы : дневники жертв и палачей / Нина Сигал ; [перевод с английского А. Б. Мовчана]. — Москва : Эксмо, 2025. — 608 с. — (Громкий шепот войны. Истории тех, кто прошел через Ад).

ISBN 978-5-04-195552-6

Что чувствуют люди, чьи соседи внезапно «исчезли»? Как рождается в человеческом сердце решимость с риском для себя помогать тем, кому грозит смерть? Откуда черпает надежду муж, супругу которого забрало гестапо?

«Черные страницы» — новый взгляд на историю Холокоста. Труд Нины Сигал позволяет услышать личную историю обычных людей, прошедших через необыкновенные и страшные времена. Для автора «Черных страниц» трагедия европейского еврейства — часть фамильного прошлого. Выросшая в семье жертв Холокоста, Сигал с детства интересовалась опытом тех, кто столкнулся с ужасами нацизма.

Книга основана на уникальной коллекции из более чем 2000 дневников граждан Нидерландов, переживших фашистскую оккупацию.

«Подобно археологу, раскапывающему древний храм, Нина Сигал раскопала сотни историй жизни в условиях беспрецедентного ужаса нацизма, раскрывая меняющиеся мысли и переменчивые настроения героев, злодеев и жертв. До сих пор у нас было только черно-белое изображение этих жизней. Теперь благодаря Сигал мы видим их в живом цвете».

Бенджамин Мозер, лауреат Пулитцеровской премии, автор книги «Сьюзен Зонтаг. Женщина, которая изменила культуру XX века»

УДК 94(492)“1939/45”
ББК 63.3(4Нид)622-8

© Мовчан А.Б., перевод
на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ISBN 978-5-04-195552-6

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог. В поисках подлинной истории Эмериха	8
Введение. «Обширный архив простых, повседневных свидетельств»	35
Авторы дневников	51

ЧАСТЬ I ОККУПАЦИЯ

Май 1940 года – май 1941 года

Глава 1. «Повсюду спускались парашютисты». 1940 год . . .	58
Глава 2. «В этой ситуации надо попытаться сделать все возможное»	76
Глава 3. «В юных сердцах вспыхнул гнев». Февраль – март 1941 года	85
Глава 4. «Ни могил, ни надгробий»	105
Глава 5. «Теперь все готово – охота начинается»	123

ЧАСТЬ II ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ДЕПОРТАЦИЯ

Апрель 1942 года – февраль 1944 года

Глава 6. «Так трудно понять, что же делать». Апрель – декабрь 1942 года	138
Глава 7. «Как хороший садовник»	152
Глава 8. «Это будет принудительный труд или смерть?» . .	165
Глава 9. «Своего рода место встречи»	180
Глава 10. «Пока грузовик не был наконец полон». Июль – декабрь 1942 года	192
Глава 11. «Если бы только было побольше мест для этих несчастных»	217
Глава 12. «Пришло время скрываться»	227
Глава 13. «Худший год для всех евреев». Январь – июнь 1943 года	239
Глава 14. «Человек, который повсюду ходит со своим блокнотом»	250

Глава 15. «Как Иов на навозной куче».	
Май – август 1943 года	268
Глава 16. «Просто у нее было слишком доброе сердце»	301
Глава 17. «Напряжение порой бывает просто непереносимым». Сентябрь – декабрь 1943 года . . .	320
Глава 18. «Дневник становится целым миром»	351
Глава 19. «Последние из могикиан».	
Январь – август 1944 года	376
Глава 20. «Журналист в душе и сердце»	390

ЧАСТЬ III

НА ПУТИ К ОСВОБОЖДЕНИЮ

Май – июль 1944 года

Глава 21. «Мне действительно было бы жаль пропустить такие виды». Май – июль 1944 года . . .	402
Глава 22. «Все эти тривиальные вещи»	415
Глава 23. «Стояла просто убийственная тишина».	
Сентябрь – декабрь 1944 года.	438
Глава 24. «Что нужно узнать, что знать об этом?»	456
Глава 25. «Империи фрицев пришел конец».	
Ноябрь 1944 года – март 1945 года	477

ЧАСТЬ IV

ВОЙНА, ЗАСТЫВШАЯ В ПАМЯТИ

Май 1945 года – май 2022 года

Глава 26. «Археология молчания»	506
Глава 27. «Страдание и борьба, верность и предательство, человечность и варварство, добро и зло»	523
Глава 28. «Постепенная отмена коллективных репрессий»	539
Заклучение. «Их было гораздо больше»	550
Примечания по поводу перевода	568
Слова признательности	572
Комментарии	576

Эта книга посвящается моему дедушке Эмериху, моей бабушке Элжбете, моей матери Марте и всем членам семьи Сафар и Рот, которых мы потеряли на войне.

И она также посвящается следующему поколению нашей семьи: моим племянникам Джозефу и Кэмерону и моей дочери Соне.

«Все вели дневники. В первую очередь, конечно же, журналисты и писатели, но также учителя, общественные деятели, молодежь, даже дети. Большинство из них вели дневники, в которых трагические события того времени были отражены через призму личного опыта. Было написано огромное количество дневников, но подавляющее большинство из них было уничтожено».

Эммануэль Рингельблюм, организатор подпольной группы «Ойнег шабес», создавшей архив о Варшавском гетто

«Никто никогда не сможет рассказать полностью эту историю, историю о пяти миллионах личных трагедий, каждая из которых заняла бы целый том».

Ричард Лихтхайм, представитель Еврейского агентства в Женеве, 9 июля 1942 года

В ПОИСКАХ ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ ЭМЕРИХА

Когда я была девчонкой, мой дедушка Эмерих приезжал на своем серебристом «Пейсере» к нам домой на Лонг-Айленд из Санни-Сайда в Куинсе, чтобы взять нас с братом Дэвидом на ланч.

Любимым местом Дэвида был «Макдоналдс» на Северном бульваре, а мне больше нравилась закусочная «Френдли» на главной улице нашего города. Это была универсальная американская закусочная с мягкими кожаными сиденьями. Вот мы и ходили туда по очереди: по четным неделям — в «Макдоналдс», а по нечетным — во «Френдли».

Как и во всех ритуалах, для этого у нас тоже была заготовлена своя крылатая фраза. Перед тем как выйти из «Пейсера» на парковочной площадке, дедушка Эмерих поворачивался к нам, сидевшим на заднем сиденье, и, прищурив блестящие озорством ясные голубые глаза, заявлял: «Что ж, можете заказать все что угодно, но только попробуйте не доесть это — я тогда возьму на кухне скалку и запишаю в вас все остатки!»

В ответ мы возбужденно хохотали, прекрасно понимая при этом, что в этой шутке есть большая доля правды. Дети в семействе Сигал никогда не должны были тратить еду просто так, не важно где, пусть даже и в американской забегаловке, где подают не самые полезные блюда. Позднее, сидя за липким столом и выуживая из тарелок последние жирные ломтики картошки фри, мы часто слышали от дедушки объяснение его фразе.

«Когда я был в лагерях...», — начинал дедушка. Далее могла следовать история о том, как он несколько дней прятал в кармане кусок хлеба и разламывал его на порции, чтобы хоть немного утолить свой голод. Или о том, как он медленно потягивал водянистый суп, чтобы растянуть его подольше.

Эти рассказы всегда озадачивали меня, десятилетнюю девочку, выросшую на Лонг-Айленде, потому что слово «лагерь» вызывало в моем воображении только веселые прогулки на каноэ и зефир «Херши» в шоколаде на десерт. И я помню удивление на лице дедушки, когда я наконец набралась смелости спросить его: «Дедуль, если тебе так не нравился лагерь, почему же ты просто не вернулся домой?» На мгновение воцарилась тишина. Дедушка посмотрел на меня — его голубые глаза некоторое время внимательно изучали мое юное лицо, — а потом от души рассмеялся. Он понял, что я совершенно не разобралась, что к чему.

Дедушка часто в непринужденной манере делился с нами воспоминаниями о событиях тех лет, но я не припомню, чтобы он хоть раз прямо объяснил, что такое эти «лагеря» и каким образом он там оказался. Хотя иногда он и начинал свой рассказ словами: «После того как меня арестовали», он ни разу не объяснил нам, почему именно он был арестован. Каким-то образом я понимала, что он не совершал никакого преступления, но все его рассказы, в общем-то, не раскрывали причин его ареста. Обычно он лишь делился с нами деталями о том, как ему удавалось перехитрить охранника или избежать той или иной рискованной ситуации благодаря своей сообразительности.

По мере того как я взрослела, мне становилось все проще понять, что существуют такие вопросы, которые не стоит задавать, а если и решишься их задать, то нет никаких гарантий, что получишь ответ. И хотя я обожала своего дедушку, я понимала, что между нами лежит огромная пропасть. Он все еще жил там, в Старом Свете, по ту сторону Атлантики,

в том месте, которое, как мне казалось, таило в себе бесчисленные, невообразимые ужасы. Чехословакия, Венгрия, Германия представлялись мне кошмарными центрами принудительного труда, тюрем, произвольных арестов, средоточием надзирателей нацистских концлагерей «капо» и эсэсовцев. Я не знала, что означали в точности все эти слова, но они внушали мне настоящий страх. Тем не менее меня постоянно убеждали в том, что все это уже безвозвратно осталось в прошлом.

Наряду с этим я отмечала, что в моей семье старались всегда быть готовыми на тот случай, если те ужасные времена когда-нибудь вдруг повторятся. Например, предпочитали сытно поесть сегодня — словно предполагая, что завтра может не удастся перекусить. Наши буфеты всегда ломились от консервов. В подвесном потолке подвала было спрятано столовое серебро. Меня «на всякий случай» предупредили о том, в каких ящиках каких шкафов уложены разные ценные вещи. На какой же такой «всякий случай»? На тот случай, если нам внезапно придется бежать?

Я видела вокруг себя лишь тихую, спокойную, сытую жизнь Лонг-Айленда, с которого открывался прекрасный вид на город за проливом. Просторные загородные дома с аккуратно выкошенными газонами, на которых ритмично, с приятным шумом включались оросители. Пурпурные и белые гортензии, словно пышные букеты, тянулись через ограду вдоль нашего бассейна на заднем дворе. Соседи радостно махали мне рукой и по-дружески приветствовали меня, когда я выгуливала собаку в нашем районе. Разве мы здесь не находились в полной безопасности?

* * *

В конечном итоге я поняла, что мой дедушка являлся *Выжившим*, и это делало его редкой и неповторимой личностью. На левом предплечье у него были вытатуированы выцветшими синими чернилами цифры, подтверждавшие его статус еврейского супергероя. Знающие люди сразу же

понимали это, как только видели его татуировку, смысл которой стал доходить до меня только спустя некоторое время.

Дедушка Эмерих, родившийся в День святого Валентина, носил официальное имя Имре Сафар и прозвище Саньи. Он умел разговаривать, если мне не изменяет память, на семи языках: с нами он говорил на английском, дома — на венгерском и чешском. Он немного знал идиш, иврит — настолько, чтобы проводить дома наши пасхальные службы. Мне было известно, что он также говорил по-немецки, но этим языком никогда не пользовался.

Как рассказала нам мама, до войны дедушка Эмерих занимался наукой и принимал участие в политической деятельности социал-демократического движения в Чехословакии. Она объяснила нам, что дедушкина семья владела бизнесом, поэтому была относительно состоятельной, однако антисемитские законы затрудняли ему поиск работы. Жили они недалеко от Праги — как я понимаю, и до войны, и после нее, — однако название их городка мне никогда не встречалось.

Дедушка был красивым мужчиной с глубоко посаженными глазами, скульптурной лепки подбородком и выражением великодушия и доброты на своем лице. Много лет спустя, когда я увидела фотографию Франца Кафки, мне показалось, что я узнала в нем черты своего дедушки. Мне было несложно представить в своем воображении романтический образ чешского интеллектуала, сидевшего в компании с другими мужчинами в серых кепках за столиком прокуренного кафе в Праге, ударявшего кулаком по столу и делавшего яркие реплики под тосты и одобрительные возгласы.

После войны, когда они переехали из Европы в Австралию, он, чтобы прокормить свою семью, был вынужден работать автомехаником. Казалось, он мог применить свою сноровку ко всему чему угодно, мог починить в доме практически любую вещь. Он всегда приходил на помощь

моему отцу в починке сантехники или электрики. В этом отношении он был похож на тощего седовласого еврейско-го Макгайвера*.

Насколько мне было известно, у Эмериха насчитывалось тринадцать братьев и сестер (или же мой дедушка был одним из тринадцати братьев и сестер — я не совсем уверена в этом). Все они к началу войны были уже взрослыми и в основном семейными людьми. Я лично встречала только двоих из них. Первым был дядя Буми, который уехал работать в Западную Европу еще до начала войны, а затем эмигрировал в Америку и поселился в Нью-Йорке, в Куинсе, где женился на соотечественнице, венгерской девушке. У них родилось двое детей, двоюродных братьев моей мамы, Фрэн и Стиви. Кроме того, в Венгрии жила моя тетя Бланка. Она смогла выжить, как и ее дочь, которую тоже, как и мою маму, звали Марта. Была еще также некая «кузина Мэри», которую я, возможно, и встречала, но точно вспомнить ее не могу.

Мама рассказала мне, что до своего ареста дедушка сумел оформить фальшивые документы для моей матери и бабушки. Они скрывались вместе с Бланкой и Мартой в квартире в центре Будапешта, которая, по мнению моего брата, на самом деле могла быть домом Бланки. Моя мама мало что могла вспомнить из того периода, однако у меня в памяти осталась ее история о женщинах, которые ночью покидали свое убежище в поисках продуктов и возвращались с кониной.

Однажды я назвала свою маму *Выжившей*, но она немедленно возразила, объяснив мне приглушенным голосом, что так называют только тех, кто пережил лагеря. Они же с матерью всего лишь скрывались.

Я восприняла это как необходимость строго соблюдать неписаное правило названий в языке, который отличается,

* Ангуc Макгайвер — главный герой популярного американского приключенческого сериала, разрешающий запутанные ситуации самыми простыми средствами (*прим. перев.*).

с одной стороны, деликатностью, а с другой стороны, точно-стью. Я уяснила для себя также, что вести беседы на такие щекотливые темы следует очень аккуратно, чтобы невзначай не задеть чьих-либо чувств и не вызвать болезненных воспоминаний. Я убедилась в этом, в том числе на том примере, что когда я порой интересовалась тем, что случилось с той или иной тетей или с тем или иным двоюродным братом, то в ответ могла услышать расплывчатую формулировку, что она или он «погибли на войне».

У меня складывалось впечатление, что «погибло» много моих родственников. В моем юном сознании это слово было связано с каким-то природным катаклизмом, с чем-то вроде мощной песчаной бури, которая опустошила целый континент. Эта «гибель» в то время не подразумевала для меня насилия или результатов деятельности преступников. Она, скорее всего, была похожа на смерть от стихийного бедствия. Да и сама Вторая мировая война в моем воображении представлялась больше природной катастрофой, вызванной исключительно темной магией Адольфа Гитлера, чем боевыми действиями между огромными людскими массами.

Те *Выжившие*, которых я знала, — а для меня все они были Выжившими, — ни разу не сели поговорить со мной, чтобы объяснить мне, хотя бы в общих чертах, основные события того времени. Война навсегда стала частью их жизни, но говорить о ней среди них было не принято. Время от времени мама вдруг делилась со мной какими-то рассказами о военной поре, обычно в совсем не подходящий для этого момент, например на вечеринках с коктейлями. Был у нее и целый набор расхожих историй (мне доводилось слышать, как она рассказывала их в компании), у которых обычно была весьма эффектная концовка. Это были хорошо продуманные, отшлифованные, остроумные светские истории. Над ними можно было бы даже посмеяться, если бы не ужас, который совершенно очевидно проступал в подтексте.

Даже наедине, в спокойные моменты, когда я просила маму рассказать мне о своем детстве, она резко взмахивала рукой и отвечала: «Нет, все это слишком ужасно! Тебе не стоит об этом знать!»

Из всего этого мне окончательно становилось ясно, что с моими родными произошло что-то очень значительное, не поддающееся объяснению обычными словами. А если об этом все же заходила речь, то рассказы получались какими-то неловкими, похожими на изуродованную, потрепанную куклу, вдруг выскочившую из механической шкатулки.

Что бы мои родные ни пережили, это навсегда определило их характеры. Например, мой дедушка всегда являлся олицетворением спокойствия, он был бесконечно добрым и уравновешенным человеком. Если не брать во внимание его резкие шуточки, с ним всегда было по-настоящему спокойно. У него неизменно находилось время для нас. Конечно, к тому времени он был уже пожилым человеком, пенсионером, но дело заключалось не только в этом. Мне казалось, что после всего, что он пережил, дедушка научился спокойно воспринимать все перипетии в жизни и ничто уже больше не могло его глубоко взволновать, обеспокоить или ужаснуть.

* * *

Когда я училась в седьмом классе, все эти вопросы немного прояснились для меня. Перед нашим классом пришел выступить человек, переживший Холокост. Мы в то время читали «Дневник Анны Франк», и к нам пригласили пожилую женщину, которая во время войны была юной девушкой. Она рассказала нам о своем собственном опыте выживания в Освенциме.

Помню, поначалу я испытывала легкое отвращение, подумав: «Я уже все об этом знаю!» Тем не менее ее выступление перед нашим классом оказало на меня глубокое воздействие. Она говорила с нами очень понятным языком, очень откровенно — и наряду с этим прозаично и буд-

нично. Она рассказала нам свою историю от начала войны и до момента своего освобождения просто и искренне, не пытаясь нас развлечь или смягчить суровость своего рассказа. Она не вставала и не ходила нервно и бесцельно по классной комнате, она просто сидела перед нами, смотрела нам в глаза и рассказывала о том, что ей пришлось пережить. Иногда на ее иссохшие зеленые глаза наворачивались слезы, и я понимала, сколько мужества потребовалось ей, чтобы прийти к нам со своей историей, и с каким достоинством она держалась.

В том же году умер мой дедушка Эмерих. Мне было тринадцать лет, а Дэвиду — пятнадцать. Дедушка занимался своим любимым делом: сидел за карточным столом в венгерском клубе на Манхэттене и играл в окружении своих друзей в кункен. Внезапно он тяжело опустился на стол. Я никогда не забуду тот пронзительный вопль, который издала моя мама, когда на следующее утро узнала эту новость.

На похоронах присутствовало около двухсот человек. По меньшей мере полдюжины плачущих венгерок заключили меня в свои объятия, и каждая призналась мне в том, что была влюблена в моего дедушку. Даже в свои семьдесят с небольшим лет он все еще обладал такой харизмой!

После смерти дедушки Эмериха мама рассказала мне несколько историй из его жизни. Одна из них произошла в Венгрии, где моя мама и моя бабушка Элжбета скрывались в деревне у одной сельской семьи, после того как место их убежища в Будапеште было раскрыто. Неожиданно там появился мой дедушка. Он шел по проселочной дороге, на которой стояли немецкие солдаты. Моей маме в то время было около шести лет, но уже тогда она понимала, что не нужно открыто радоваться, увидев своего отца, — это может быть опасно для всех. Ей удалось подавить желание подбежать к нему и обнять его. Это умение ребенка держать себя в руках до сих пор поражает меня.

Позже я поняла, что в изложении мамы истории про дедушку представляли собой причудливую смесь жития святых

и мифов о богах. Однако следует иметь в виду, что в годы войны моя мама была еще совсем ребенком — и что она на самом деле могла помнить?

Позже у мамы начался рассеянный склероз, а это заболевание сильно влияет на память. Ее рассказы становились все более преувеличенными, а их изложение — театральным. Сначала, по ее словам, дедушка когда-то побывал в трех концентрационных лагерях, а позже она упоминала уже четыре. Было ли это результатом того, что мама вспоминала новые подробности, или же в ее памяти просто все перемешалось? В любом случае отличить реальные факты от вымысла в ее рассказах становилось все труднее.

К этому времени я уже стала взрослой, уехала и жила отдельно. У меня была своя жизнь, которая, как и полагается, протекала здесь и сейчас и была нацелена в будущее. Прошрое представлялось мне чем-то застывшим и устаревшим. Почему я должна была интересоваться прошедшей войной и Холокостом? Разве мне нужно было в этом разбираться лишь потому, что я — родом из семьи *Выживших*? Разве моя семья не стремилась так отчаянно «оставить все это позади» и «жить нормальной жизнью»? Как мне казалось в то время, для того чтобы жить нормальной жизнью, следовало перестать думать о прошлом.

* * *

И я перестала о нем думать — надолго, на целые десятилетия. У меня появились другие интересы, другие задачи и цели. Я стала театральным художником, а затем журналистом. В начале своей журналистской карьеры я писала в основном на злободневные для американского общества темы: о бездомных, о заключенных, о расизме, о правах на жилье, о здравоохранении, о насилии в семье. Я также много писала об искусстве и театре. Позже я готовила статьи для газеты «Нью-Йорк таймс», и моей темой являлись материалы про Гарлем и Бронкс. Затем я получила работу

в новостном отделе агентства «Блумберг», моим направлением стало городское искусство и культура.

Я не считала себя еврейкой, хотя и понимала, что на самом деле все именно так и есть. Для меня быть евреем означало прежде всего быть религиозным человеком, а я являлась атеисткой. В детстве я не ходила в синагогу и не посещала еврейскую школу, мои родители религией не интересовались, особенно моя мама. Мы действительно отмечали некоторые еврейские праздники, но лишь дома, за семейным столом, а не в синагоге. Порой меня приглашали на еврейские праздники бар-мицва и бат-мицва*, еврейские свадьбы и похороны, и я чувствовала там себя энтомологом, оказавшимся среди аборигенов: а, так вот какие обычаи у евреев!

В 2006 году я приехала в Европу. В то время я работала над произведением по картине Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», его шедевру, написанному в 1632 году, о человеке, которому производят посмертное вскрытие. Я получила стипендию Фулбрайта на изучение этой темы в Амстердаме в течение десяти месяцев. Мне предстояло работать под началом ведущего мирового исследователя творчества Рембрандта Эрнста ван де Ветеринга и провести почти год там, где в XVII веке происходили события, о которых шла речь в моем произведении.

В Амстердаме я поселилась сначала в «районе красных фонарей» — оттуда было недалеко до того дома, где когда-то жил и работал Рембрандт (сегодня там находится его дом-музей). В золотой век Нидерландов** здесь проживало

* Бар-мицва и бат-мицва — еврейские религиозные ритуалы, посвященные религиозной зрелости, соответственно мальчика в его 13-й день рождения и девочки в ее 12-й день рождения (*прим. перев.*).

** Золотой век Нидерландов — период в истории Нидерландов, в течение которого Республика Соединенных провинций достигла своего расцвета в торговле, науке и искусстве; максимальный расцвет экономики и культуры Нидерландов пришелся на XVII век (*прим. перев.*).